

Александр  
Борщаговский

ИЗБРАННОЕ

# Александр Борщаговский

---

избранные  
произведения

В ДВУХ  
ТОМАХ

## ТОМ ВТОРОЙ

ГДЕ ПОСЕЛИТСЯ КУЗНЕЦ

Исторический роман

РАССКАЗЫ



МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1982

P2  
Б83

Оформление художника  
С. ТОМИЛИНА

Б- $\frac{47020f0200-169}{028(01)-82}$  56-82

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1982 г.

# Где поселится кузнец

---

исторический роман

## Пролог

Они шли рядом — генерал в черной фетровой шляпе, сдвинутой с гривастого затылка на лоб, и женщина, легкой, скользящей походкой, одетая так просто, как давно уже не одевались на Потомаке генеральши, утопавшие в кружевах, фестонах и оборках, увенчанные шляпами, которые изобилием плодов, цветов и перьев спорили с фламандскими натюрмортами. Шли стиснутые толной, шли так тесно, что уж проще было бы женщине продеть правую, свободную от клетчатого саквояжа, руку под локоть мужа, но, идя об руку, они не могли бы лавировать, опережая ватаги солдат в синих мундирах, звенящих шпорами офицеров, господ в коротких весенних пальто, в цветных сюртуках, в коричневых, отливавших на закате медью цилиндрах, расторопных слуг и посыльных с белозубой ухмылкой на черных лицах, хмельных ирландских ремесленников и немолчных немцев, как будто близкая победа над мятежным Югом пьянила их, иммигрантов, сильнее, чем вашингтонских аборигенов.

— Передохнём! Загонял ты меня, Ваня! — Уже десять лет, как обиходным их языком стал английский, но в беспокойстве, в любви, в запретной жалости друг к другу приходили к ним русские слова. — Господи! Ты билеты не спрятал: потеряешь, придется новые покупать!

По здешнему обыкновению, он сунул билеты, купленные со скидкой в Чикаго, в оба конца — Чикаго — Вашингтон — Чикаго, — за муаровую ленту шляпы. Женщина сняла с него шляпу, открыв высоко облысевшую голову.

Сойдя с поезда, они и не взглянули в сторону наемных кебов, а двинулись в город через вокзальную площадь, среди паровозных воплей, цокота копыт, зазывных криков кебменов, звона уздечек. Была страстная пятница, 14 апре-

ля 1865 года, ветер с океана, с Чесапикского залива, прогонял в вышине редкие облака и сулил близкую непогоду.

Генералу нужен был президент Линкольн. В саквояже жены лежала, обернутая в газетный лист, небольшая книжка, только что отпечатанная в чикагской типографии Джона Р. Уолша, названная генералом так, что он и сам затруднился бы перевести титул на русский язык. «Military gambles» — военные раздумья, этакое рысканье гневливой мысли, саркастическое обозрение всего, что попадалось на глаза военному путнику, помесь беспощадного мемуара и побасенок, густо приперченных памфлетных эскапад. Обо всем горячо, решительно, запальчиво, совершенно в русском духе.

Ветер доносит голоса труб от морских казарм и верфи, от Арсенала у стрелки, разрезающей Потомак на два рукава. Играют оркестры у Белого дома, у военного департамента, у казначейства, у театра Форда и Гровер-театра, торжествующий голос меди скликает в небо столицы все более густые, вязкие, все ниже плывущие облака. Двери кабаков, салунов и шивных залов распахнуты, там не протолкаться: пьяный ор, грохот кованых ободьев, скрип пыльных колымаг и фургонов, вавилонское смешение языков и паречий, мельканье колесных спиц, горделивое покачивание всадников, шуршание шелковых платьев, хмельная, неугомонная чечетка под свист и хлопки зевак, — Вашингтону нет дела ни до них, ни до задиристой книжицы мистера Турчина.

— Полковник!

Турчин не отозвался на голос. На нем хоть и поношенный, но генеральский мундир, но большой звезде на каждом пришитом поперек плеча погоне.

— Полковник!

Перед ним, крестясь, приплясывал коренастый человек, от шеи до колен прикрытый театральной афишей.

— Мадам! — он сдернул шляпу со встречанной рыжей головы и церемонно поклонился, показав и вторую афишу, на синие. — Счастлив видеть вас, госпожа Нэдин!

Одутловатое веснушчатое лицо с такими же голубыми, как и у генерала, глазами неясно тревожило память.

Генерал двинулся вперед, однополчанин пристроился рядом, припадая на ногу.

— Да, приходится шагать в ногу с этим стадом, не то затопчут... Я — Пэдди! Сержант Пэдди! Пропыра

Пэдди! — Он забавлялся беспамятливостью генерала и загадывал шарады, называя не собственное имя, а общую для всех ирландских иммигрантов кличку Пэдди, от покровителя Ирландии святого Патрика. — Ну-ка, брошу я вам приманку на крючке! Осенью шестьдесят первого я попал к вам в денщики. Не понравились мне приказы мадам, и я сказал: пусть не командует мною дама, а вы? Сержант, сказали вы, госпожа Турчина может командовать целым полком таких, как вы. Ступайте!

— Сержант Маллен! — воскликнула Надин. — Барни О'Маллен!

— Все, что от него осталось! — Голос бывшего сержанта дрогнул. Барни задрал левую штанину и приподнял от земли протез. — Многие потеряли больше: особенно те, кто не поберег голову.

— Как вы изменились, сержант!

— И вы тоже не прежний: пожалуй, мундир на вас не застегнется. А вы, мадам... Ах, как мы любили повторять вслух: м а д а м, м а д а м, п а ш а м а д а м! Как будто на всем свете не было других женщин.

Откинув голову, Надин счастливо рассмеялась, словно была не в толпе, а высоко в седле, рядом с мужем, и глаза слепило солнце, и дела шли как нельзя лучше.

Они шагали быстро, Барни прихрамывал, он забыл, что выпущен на улицы столицы, чтобы, надрывая глотку, выкликать название пьесы и имя бенефициантки, звезды Лоры Кин.

— Вам нечего бояться, мадам: мир будет стареть, а вы нет.

Надин припнула к мужу, шепнула:

— А ты колебался, ехать ли в Вашингтон!

— Святой Патрик! Я никогда еще так не жалел, что у меня ни цента в кармане; вот учинил бы я вам выпивку!

— Мы не пьем, сержант.

— Как, все еще не пьете?! — горестно воскликнул Барни. — А ведь пожалеете, да поздно будет. Сегодня праздник, сегодня и я, пожалуй, спляшу так, что все мои железки рассыплются. Из всех последних сражений, которые мы выиграли, знаете какое самое толковое? — Барни умолял ненадолго, чтобы Турчин не подумал, что бывший сержант и впрямь экзаменует его. — Когда мы выбрали Линкольна на второй срок! Эйби не даст им поднять голову! Он прикажет всех их свезти в форт Самтер, выдать им дырявые, самые паршивые лодки, какие только

у нас есть, и пусть плывут через океан к своим друзьям, к чертовой матери, простите меня, мадам!

— Блажен, кто верует, сержант.

— Уж мы молились за вас, при каждом удобном случае. Только не знаю, помогает ли русским молитва католиков?..

Толпа оттеснила их к огромному фургону, он въехал правым бортом на тротуар, под зеленый, прозрачный шатер весенней листвы. На фургоне пыль дорог, тяжелые фермерские лошади не выпряжены, на передке тучная негритянка, впервые попавшая в такой большой город; она выкатила глаза на толпу и громко бормотала:

— Господи! Иисусе! Неужто у каждого из них есть свое имя?

— Есть, тетушка! — откликнулся Барни. — И не одно, а два имени, а то и три, а у немцев, случается, и больше.

— Что вы делаете в столице, Барни? — спросил генерал.

— Детей! Ничто мне так не удастся, как дети, извините, мадам. — Он не понял, отчего изменилась в лице Турчина. — Я тут в госпитале лежал, ну и подобрала меня здешняя девчонка; теперь волосы на себе рвет, да поздно. Мы у верфи живем. — Он назвал адрес. — Она меня редко на порог пускает, а когда оплошает, ей это дорого обходится. Трое у нас, по первому разу она двойню родила.

Турчин замкнулся в тяжелой и, как почудилось Барни, презрительной отчужденности, будто нет здесь ни бывшего сержанта, ни белых, ни черных, ни шныряющей прислуги, ни чадающих факелов, а только они, знатная заветная пара посреди пустыни. А ведь он к ним с открытым сердцем, он им о законных детях говорит, посмотрели бы они на его красавцев, мальчишек-близнецов! И Барни начала разбирать злость.

— Хорош городок! — выкрикнул он. — Конюшней насквозь пропах, куда ни плюнь, конюшня. Лошади — загляденье, а в седлах каждый второй — стервец. Говорят, их повитухи принимают готовенькими, с серебряными шпорами на пятках! Сегодня бы этим сукиным сынам поса на улицу не показывать, а вы посмотрите, сколько их, и карманы от кошельков обвисли. А мне и напиться не на что! Вот! — Он рванул в сторону афишу, открыв поношенный жилет и изодранную, распахнутую на груди сорочку. — Лора Кип меня греет! Знаете, кто мне устроил этот бумажный сюртук и доллар в день? Помните Уильяма Крисчена, он все в типографии вертелся, когда вы стали

печатать «Зуав газетт»? Теперь он важная птица в театре Форда, вышибала, что ли, не пойму толком.

Из боковой улочки высыпала орава мальчишек-газетчиков в форменных картузах и куртках, на новомодный нью-йоркский манер, с тяжелыми пачками вечерних газет. Они громко кричали о том, что президент Линкольн и генерал Грант с супругами посетят спектакль театра Форда «Наш американский кузен» с Лорой Кин в главной роли. В нескольких шагах от Турчиных остановился кеб, и генерал крикнул кебмену, что берет его, хотя до Белого дома оставалось немного; Турчин заторопился. Уже усадив жену, он сунул сержанту пятидолларовую бумажку.

— Взаимы! Только взаимы! — горячо заговорил Барни О'Маллен. — Иначе не возьму, иначе я оскорблюсь. Вы же знаете мой необузданный нрав! — Впрочем, деньги уже лежали в его кармане, и говорил он больше для зевак, чем для Турчина. — Иначе это черт знает что: милостыня! Вы с мадам должны прийти ко мне в гости! — Он повторил свой адрес.

— Не милостыня, сержант, а долг, долг чести, — сказал генерал, вырывая прапунца в глазах зевак.

Откинувшись в глубину кеба, они ощутили свою отдельность от толпы; жизнь громыхала спаружи, как шрапнелью и беглым ружейным огнем, колотила в кожаный верх экипажа медью оркестров, взрывами праздничных петард и шипением шутих. Надии застегнула на муже мундир, пальцы ее успокоительно и благодарно чувствовали под мундирным сукном его тело, не тяжелое, не вялое, а порывистое и сильное. Она опасалась, что муж, сквозь опущенные веки, все еще видит перед собой незнакомую жену сержанта Барни и ее рыжеволосых детей. Им, Турчиным, это счастье не дано: так было решено еще в Польше. Теперь и подавно поздно: через год ей сорок, он на четыре года старше. Годами они не сходили с седел, грубея в бедрах; выносливая, терпеливая их плоть черствела, сбиваясь все туже. Теперь о детях и думать нельзя, и потому думается, думается, думается с помутняющей сознание тоской. Надии прижалась к мужу и поцеловала его, перебив дыхание, нетерпеливо, молодо, будто не в минутном укрытии, а в самом начале долгой ночи.

Лошади свернули влево, в аллеях уже сиренево смеркалось, копыта мягко ступали по утоптанной земле. Возница натянул вожжи, сомневаясь, ехать ли дальше, и Турчин крикнул, чтобы вез к самому входу в Белый дом.

И снова на миг, но остро, раняще, Турчину подумалось, что предприятие его безнадежно, он опоздал и каркает среди всеобщего ликования; что он, иммигрант, не может возвыситься до народного ощущения торжества и радости победы; что он стареет и брюзжит, читает проповеди, когда пришел час джиги и благодарственных псалмов.

От Белого дома их отделял обширный газон и прореженный строй деревьев. Навстречу уже спешили полицейский и кто-то в темном сюртуке, с шляпой в поднятой руке, не то зазывая кеб, не то угрожая, чтобы он не двигался дальше, к двухэтажному белому зданию с ионическим портиком. Кебмен предпочел развернуться и, получив от генерала монету, покатиł назад.

Турчин не успел осведомиться у полицейского о Линкольне, как вперед вышел смуглый красавец. Генерал узнал его — молодого чикагского дельца, майора, который слишком быстро оставил армию, но преуспел в политике.

— Вы к президенту?! Какая жалость! Он только что отправился в театр... Лора Кин... прощальная гастроль, — зачастил отставной майор. Его трясло от азарта, от тайного злорадства и предчувствия неудачи, которая должна, непременно должна постичь бесшабашного, дерзкого генерала, азарт подогревался и присутствием Турчиной: она старше майора, но всякий раз, когда он встречал ее, в нем поселялось горькое чувство обделенности, сознание, что этой гордой осанки, этих длинных, безукоризненных рук и удивительной законченности бледного, полуоткрытого рта, ее серых глаз, всей ее прекрасной, естественной плоти ему не перекупить за все богатства железнодорожной компании, не выторговать у бога, у судьбы, у бородатого генерала с речью родовитого торп.— Президент в театре Форда, но не с Грантом, нет, мистер Турчин, их жены не ладят. Госпожа Грант полагает, что отныне все взгляды должны быть обращены только на ее супруга. Но мы-то с вами знаем, как много сделал для победы Эйби...

Турчин буркнул что-то на прощание и свернул в сторону от вечерней улицы, освещенной газовыми фонарями, пламенем факелов, ярким светом харчевен и пивных залов. Поезд на Питсбург — Чикаго отходил после полуночи. Покружив по нарку, Турчины направились на Десятую улицу, к иллюминированному фасаду театра Форда. Перед ними высилось трехэтажное, кирпичной кладки здание, нижний этаж оштукатурен, побелен и высветлен огнями, на его фоне всеми красками играло

карнавальное действие: лакированные экипажи, медленно поигрывающие красными спицами ландо, силуэты вороных, гнедых и пестельно-темных лошадей под седлом, громоздкие шляпы женщины, стянутые в талии и широченные книзу платья, мундиры старших офицеров, простроченные двумя сверкающими рядами пуговиц, парижские наряды, которым и война не помешала пересечь океан. Видимо, Линкольн только что появился в ложе: оркестр за кирпичной стеной заиграл «Hail to the Chief», толпа на Десятой улице откликнулась криками, гулом, полетели вверх цилиндры и шляпы, полетели так высоко, что немногие возвращались к своим владельцам. Внезапно толпа отхлынула к тротуарам, открыв дорогу экипажу с четверкой лошадей. Восторженные крики: «Грант! Грант! Да здравствует Грант!» — заглушили стук копыт; толпа узнала своего любимца в усталом, озабоченном, припущенно выпрямившемся человеке. Он сидел в расстегнутом, как и на Турчине, мундире, рядом с женой.

Притиснутый к стене, Турчин наклонил голову, будто Грант мог увидеть его в толпе. Чувство жалости к жене, затертой чьими-то равнодушными спинами, нахлынуло так неистово, так покаянно, что захотелось кулаками проложить ей дорогу сквозь толпу.

А она будто угадала его смятение и сказала нежно:

— Мы у цели, дружок. Дождемся президента — и пусть все будет, как будет.

— Я не позволю тебе ждать на улице!

— Мы могли бы вместе пойти в театр.

— Меня — уволь! — воскликнул Турчин. — Я лучше наймусь в конюхи к этим ловкачам, убирать навоз, что угодно, только не смотреть идиотский фарс!..

Позади театра, в полумраке Театральной аллеи с черными стволами вязов, Турчина обступила тишина. Смутно темнела задняя стена театра с заложенными деревянным брусом воротами, со служебным входом на сцену, с наковальней неподалеку от двери и коновязью в стороне. Сюда едва доносился смех зрителей, когда открывали служебную дверь, чтобы выбросить окурки или выглянуть наружу, не начался ли дождь, назревавший в вашингтонском небе. Турчин сел спиной к театру, на каменную тумбу. Он не заметил, что к театру подъехал всадник, ловко соскочил с высокого седла и нетерпеливо

прошелся вдоль брандмауэра, будто ждал здесь кого-то встретить и, к досаде своей, обманулся. Турчин вскочил на ноги, когда за спиной кто-то сказал совсем близко: «Эта скотина Спенглер всегда опаздывает!» — и хлыст шлепнул генерала по спине.

— Простите!..

Человек потянулся было к шляпе, но не донес руки до темных, приспущенных полей и драчливо уставился на генерала.

Турчин никогда прежде не видел этого статного молодца с нервным, заносчивым лицом, с загнутыми книзу темными усами и с недобрый прищуром неуступчивых глаз. А тот, вдоволь наглядевшись на мундир генерала-северянина, посмотрел на Турчина не только с вызовом, но и с личной, осознанной, мстительной неприязнью.

Открылась служебная дверь, слабый свет размыло у самой стены, едва тронув наковальню, кто-то помешкал на пороге, привывая к темноте, и двинулся к ним.

— А-а-а, Спенглер! — отметил про себя человек с хлыстом.

Приблизился длиннорукий, с жилистой, высокой шеей человек. Бежевая нечистая шляпа, обвисшая слева, притеняла лицо, под рабочей курткой на нем надета грубо тканая, без воротника рубаша. Теперь они оба разглядывали генерала: один напряженно и подозрительно, другой с ленивой развязностью.

— К черту! — сказал Турчин без адреса, имея в виду случайность, которая свела на задворках театра незнакомых людей, и пошел по аллее в сторону конюшен. Служебная дверь за его спиной открывалась и закрывалась, затем всё стихло, Турчин остался один. И вдруг в темноте за стволами вязов прошестели странные звуки:

— Белая грязь!..

Турчин остановился: не ослышался ли он? С чего бы это в столице, у стен театра, где находится сам президент, звучали так хорошо знакомые солдатам слова, которыми мятежники выражали ненависть и к белым беднякам Юга, и к белым противникам рабства.

— Белая грязь!

Не дүхи ли преследуют его?

— Русская грязь!

Вот как: дүхи знают его! Голос приходит снизу, будто кто-то, прячась, прополз мимо.

— Русская грязь! — послышалось за вязами, на этот

раз с другой стороны, и голос другой, пропитой, силоватый.

Духи затеяли с ним игру. Они возникают то там, то тут, хитрят, дразнят, обманывают. Шепот, сдвоенное дыхание, идиотский, кудахтающий смех, осторожные шаги и быстрый, мелкий топот, шаг ребенка и бросок метнувшегося в траве барсука.

— Русская грязь!

Турчин бросился на голос; упала с головы шляпа, он наклонился, нашарил ее, а шепот полоснул, обжег справа, и, ослепясь яростью, он рванулся туда, зная, что этого нельзя делать. Турчин налетал на стволы, ушиб плечо, метался, слыша позади и сбоку издевательский смех, и сослену наткнулся на кого-то, присевшего у самой земли. Тот не вырывался из рук генерала, а покорно побрел к театру, где было светлее.

Большоголовый уродец, почти карлик, с тупым, взрослым лицом. Он стоял, перевалив набок голову, и без страха поглядывал на генерала. И в тот же миг, когда Турчин разглядел его, кто-то, быстро обогнув здание театра, закричал в темноту:

— Мистер Турчин! Мистер Турчин! Где вы?

Едва высокая, тощая фигура возникла перед генералом, он узнал Уильяма Крисчена, молодого чикагского журналиста, волонтера 19-го Иллинойского полка.

— О, генерал! Дорогой генерал! — обрадовался Крисчен и тут же узрел уродца. — А ты что здесь делаешь, паршивец?

— Мы с генералом в прятки поиграли. — Турчин отпустил его руку, и карлик сообразил, что трепки не будет. — Мистер Джон Бут велел мне посторожить кобылу.

— Поставь ее к коновязи и убирайся.

Он поковылял к театру, покачивая большой головой на борцовской шее; служебная дверь отворилась, за кулисы скользнули двое: Спенглер и кто-то еще — тонкий и быстрый.

— Пойдемте-ка, Крисчен, я вас разгляжу.

Они вышли за угол театра, под газовые фонари. Несмотря на крайнюю худобу, все в Крисчене и на нем было соразмерно, хорошо сложено и пригнано, будто через минуту ему самому выходить на сцену. Сюртук — долгополый, с небольшими, обметанными тесьмой отворотами, под ним яркий жилет, крахмальная сорочка с подпирающим голову воротничком, умело вывязанный

бант, бакенбарды, бледный, бескровный рот и уклончивый, стесняющийся своей проникательности взгляд.

— Кто эти люди? — Турчин кивнул в темноту.

— Подонки. Хозяин лошади Джон Бут, артист, красивое ничтожество. Изображает на житейских подмостках аристократа духа, а в сущности, дрянь, трагичный герой. — Он махнул рукой, мол, не стоит о них. — Я встретил мадам! Понимаете, какое это для меня событие?! Вы и мадам! Генерал Турчин и наша мать-исповедница!

— Полегче, Крисчен! Я лезть переносил труднее, чем неприятельский огонь.

— У меня для вас и мадам есть отличные места в театре. Барон Стэкль заказал ложу, но что-то у него переменялось, его в театре не будет. Ложа слева, напротив ложи президента: пусть Эйби поломает себе голову, кто этот свирепый бородач, занявший место русского посланника, барона Стэкля!

— Вы обзавелись семьей, Уильям?

— Никогда, или, во всяком случае, не раньше чем стану знаменитым писателем. Это несовместимо, генерал, — жена и литература!

— Вы думаете, жена и война — легче?

— Мадам не в счет: она одна такая, по крайней мере, на два континента!..

— Да, вы будете писакой! — сказал Турчин. — Лихо вы научились лстыть, а это ведь половина дела.

— Я честолобив, мистер Турчин, я хочу, чтобы через десяток лет вы и мадам сказали кому-нибудь: а ведь мы его знали! Он и тогда был неплохой парень, но кто мог ожидать?! — Все это он говорил без улыбки, только мягкий голос выражал и насмешку над собой, и тревожный привкус мечты. Они шли сквозь поредевшую толпу у театра, мимо служащего, проверявшего билеты, по пологим ступеням и безлюдному коридору вдоль балкона и лож. — А пока, генерал, я рассказываю о вас и о мадам, и пока мне не верят, а я клянусь, что все правда, истинная правда; такой он человек, а ко мне относился совсем неплохо.

— Ладно, Крисчен; а если без шуток, — как вы находите наши дела? Я один в ложу не пойду.

Крисчен понимающе кивнул.

— Наши дела запутанны, генерал. Нация победила — нация больна.

Крисчен двинулся было вперед, чтобы сходить за Турчиной, но генерал остановил его:

— Мне надо повидать президента. Я не ищу у него должности или милостей: то, о чем я хочу говорить, касается нас всех. Он один?

— Там еще жена и майор Генри Ратбон с невестой.

— Может быть, к Линкольну приставлен знакомый мне офицер?

— При нем сегодня пьянчуга Паркер, — я не доверил бы ему место кучера президентского экипажа. Паркер засел в театральном буфете, и к президенту войти просто: пишком отворить дверь, потом вторую, прищелкнуть каблукками и — здравствуйте, Эйби!

— Чем-то он вам не угодил, Крисчен.

— Я молюсь за него всякий раз, когда по забывчивости начинаю молиться. Я надеюсь на Линкольна, генерал, — продолжал он сухо, — но не стал бы у него искать ничего. Едва запахло успехом, как его обступили люди, которые не уступят вам и дюйма. Вы для них будете чужаком, иммигрантом, смутьяном, даже и в этом мундире.

Турчин облегченно засмеялся.

— Он там со своей взбалмошной бабой, — сказал Крисчен, — какая тоска при ней говорить о делах!

Турчин открыл саквояж, вынул изданную Уолшем книгу.

— Мне необходимо передать это Линкольну: здесь собраны мои военные и политические пиесы, в них нет роли для Лоры Кин. Я хочу вручить книгу президенту, вот, собственно, и все. Да не смотрите вы на меня с таким сожалением: я не маркиз Поза, голубчик!

Но уже порвалась связь: Крисчен смотрел мимо Турчина, скользнул отсутствующим взглядом по стене с приглашенными светильниками, по темной, мелькнувшей в коридоре фигуре и отправился за женой Турчина, а генерал, огорченный его внезапной холодностью, рассеянно вошел в ложу. Он хотел отыскать внизу за барьером Надин, увидеть, как Крисчен поманит ее, и она скользнет между кресел, склонив голову, и мужчины будут смотреть ей вслед, будто она не помешала им, а оказала милость, пройдя мимо. И женщины будут смотреть — прищурясь, с тревогой, не сразу находя колкие, злые слова.

Зал был во всплесках смеха, в гомоне, в возбужденных жестах, в радостной беспечности. Это был словно иной мир, чем тот, из которого только что явился генерал: где метался

за вязами большоголовый уродец, и падали первые капли дождя, и била копытами в утрамбованную землю кобыла красавчика актера, а глухая кирпичная стена театра Форда уходила вверх, в темноту, как огромный загрунтованный холст, на котором творцу только еще предстояло писать фреску о виноватом и окровавленном мире. Здесь воздух начинен духами, запахами кремов и пудр, паэлектризованным шелком, завистью, враждой, примолкшими на время, отведенное для смеха. Сцена в огнях и две фигурки на ней — прославленная Лора Кин и комик Гарри Хаук; он лихо зацепил большими пальцами рук подтяжки и выкрикивал реплики ненатурально громким голосом. И надо всем этим, через зал, ложка президента. Просторная, из двух соединенных лож, с убранный перегородкой, как на старых фрегатах, когда снимают каютные переборки для удобства орудийной прислуги; мягко подсвеченная бронзовой люстрой с матовыми шарами, ложка президента словно плыла над залом, и складки трех полосатых флагов, и волнистые портьеры, казалось, колыхались, наполняясь ветром и набирая скорость.

В кресле сидел Линкольн. Он так высок, что и откинувшись назад возвышается надо всеми в ложе. И невозможно понять, что связывает этого исхудавшего человека с профилем мудреца и сатира и суетную, одутловатую женщину в аляповатых цветах на голове.

Может быть, тому виною расстояние и рассеянный матовый свет, но Турчину показалось, что президент устал и страдает, что ему нестерпимы принужденное, чопорное молчание ложки среди всеобщего веселья и невозможность сосредоточиться, думать о своем. Турчин даже привстал от внезапной мысли, что Линкольн был бы рад послать к черту театральную мишуру, встретиться с ним, пожать ему руку, устроиться в темном фойе, поговорить о деле, сморозить что-нибудь этакое, о чем долго будут шуметь газетчики, посмеяться, наконец, над генералом, который доставил ему немало хлопот, и думать, думать, поглаживать длинными пальцами книгу, изданную Уолшем, подергивая вналоу щекой и касаясь ладонью плебейского хрящеватого уха...

Но уже открыла дверь ложки Падин, а мистер Тренчард, американский кузнец, которого изображал первый комик театра Форда Гарри Хаук, отчаянно, в манере истинного янки, натянул подтяжки большими пальцами рук и так задиристо закричал велел покидавшей сцену Лоре Кин, что зал разразился хохотом.

Темная фигура возникла в ложе за спиной президента, поднялась рука с пистолетом, Турчин узнал Джона Бута, вскрикнул, взмахнул руками, но никто его не услышал; даже звук выстрела был покрыт хохотом. И когда Бут отшвырнул майора Ратбона, ранив его ножом, когда, вскочив на барьер, он прыгнул вниз, зацепившись шпорой за флаг, когда, закричав: «Так кончают тираны!» — он бросился через сцену в кулисы, волоча сломанную ногу, — даже и тогда немногие в зале поняли, что случилось несчастье. Но Турчин видел, куда пришелся свинец, как Авраам Линкольн подался вперед и затем, поддержанный женой, бесчувственно откинулся на спинку кресла-качалки.

Турчины сидели в ложе, пока возбужденная толпа протискивалась из театра наружу, и кто-то громко плакал, кто-то кричал о погоне, а затем и о том, что убийца усекал на лошади, которую держал для него наготове маленький уродец. В ложу президента набились медики и офицеры, вскоре его унесли под громкий плач жены.

. . . . .

Они вышли на Десятую улицу, запруженную, несмотря на дождь, людьми. Плутали по небольшим улочкам, мимо салунов и ночных бильярдных, где еще не знали об убийстве. Шли, промокнув насквозь, под апрельским, шквалистым дождем. У моста через Анакобия-ривер, неподалеку от верфи, остановились: до отхода чикагского поезда оставалось немного времени. Здесь фонари редки, а улицы почти безлюдны. Турчин прочел название улицы; о ней и говорил им Барни О'Маллен. Каких-нибудь пятьдесят шагов отделяли их от дома бывшего сериканта.

— Я хочу повидать Барни, — сказал Турчин. — Он проводит нас на вокзал.

В одноэтажном, обшарпанном доме горел свет, дверь распахнулась сразу, будто маленькая, грудастая ирландка караулила у двери, но ждала не эту странную пару, а кого-то другого, с кем не мешало бы свести счеты. Она смотрела молча и выжидающе.

— Здесь живет Барни О'Маллен? — спросил Турчин.

— Пожалуй, здесь, когда доползет до дому.

— Мы могли бы его повидать?

— Еще бы! Он где-то в Вашингтоне: нынче страстная пятница, какой-то бездельник сунул муженьку доллары, военный должок. Теперь его не скоро дождешься!